Документальный рассказ.
Тех, кто знает предмет повествования,
его героев, прошу понять и принять
некоторый вымысел в этом по большей
части правдивом изложении.

Художник умирал. Он лежал ничком на садовой тропинке, выложенной булыжниками. Каждый — памятка от близких, далеких, случайных знакомых, бывших здесь лишь единожды. Всякий раз, приглашая к себе на дачу кого бы то ни было, он наказывал взять с собой булыжник.

— А выпить, закусить?

— Нет, только камень.

Многие оставляли автографы на принесенных камнях, но только один, архитектор Ваня Зотов, догадался покрыть свою подпись лаком. Впрочем, и она со временем исчезла, лишь редкие чешуйки лака напоминали о ней.

Иногда он забывался, уходил в небытие, и тогда мир обретал краски, оживал. Он хотел бы уйти в тот цветной мир насовсем, не возвращаться в холодную, серую действительность, не получалось, явь зачем-то не отпускала его надолго. Лежать в такой позе, уткнувшись лицом в серый гранитный окатыш, было неудобно, но привстать или хотя бы повернуться на бок сил не было. Все они куда-то утекли, без остатка.

А жизнь, как это ни странно, зовет за собой мыслями о самом простом. Надо бы затопить печь, мастерская уже несколько дней холодная. Он недавно перебирал картоны, составленные у стены, — некоторые начал подъедать грибок. Там ведь есть неплохие работы, графика. Надо пойти затопить печь — и тут же провал — сон ли, видение… И первое ему явилось — кем-то невидимым произнесенная фраза, которую он сам давным-давно отправил в письме своему другу на Алтай: где та грань между существовавшим и существующим? С цветным миром, являющимся в забытьи, начало происходить что-то странное. Он стал складываться из осколков отшлифованного камня, и художник сразу же понял: это флорентийская мозаика. Только открылась она не в виде панно, встроенными в стену, не одетыми в рамы картинами, она заполнила все пространство: небо, земля, деревья, дома — все сплошная мозаика. Художник начал перебирать в памяти: это белоречит, кварцит с Алтая, это ревневская полосчатая яшма оттуда же, это лазурит с Памира, орская яшма, чароит из Иркутской области, карельский гранит, пуштулимский мрамор… Он удивлялся мастерству, с каким подогнаны одна к одной каменные пластины, ни щелочки, ни одного видимого стыка. Полжизни положил на работу с этой мозаикой на колыванской фабрике, а добиться такой техники так и не сумел. Видел в запасниках Эрмитажа наборные столешницы работы итальянских мастеров 17-го века — чудо чудное, подгонка идеальная, а отреставрировать некому, нет нынче таких умельцев.

Пришло время, появились умные станки с заданными компьютерами программами — и он поехал в Колывань, повез образец безупречно выполненных соединений каменной фанеры. Долгожданная встреча со старыми друзьями, художниками камнерезного завода.

— А где Серега?

— Уехал в Первоуральск, на родину, говорят, фирму там открыл, памятники делает для богачей, камины.

— Володя?

— Дома сидит, болеет, силикоз, дышит трудно.

— Так это ж вроде шахтерская болезнь?

— У камнерезов он еще хуже. Угольную пыль как-то можно выгнать из организма, каменную — никогда.

— Василий?

— Жена не отпустила, корова у них разродиться не может.

Главный художник Саша Дербенев крутит в руках привезенную из Питера пластину, а смотрит куда-то мимо. Мимо всего. «Побила житуха, — думает гость, — смотри-ка, седой совсем. И куда я столько набрал!» — оглядывает он стол с рядом красивых бутылок и деликатесами, привезенными из краевого центра. За столом, кроме него и Саши, старый мастер Иванов и недавно приехавший из Тагильского училища вчерашний его ученик. Да, того самого училища, из которого двадцать с лишним лет назад сюда вместе с Сашей приехали еще одиннадцать выпускников. Они сутками не уходили с завода, иногда прямо там весело выпивали и работали, работали… Трудно было сказать, кто кого больше воодушевлял: питерский гость с его бесчисленными идеями — хозяев или они, юные, злые до работы, — его.

— Ну что, Саня, будем новую технологию внедрять? Завтра с вашим директором встречаюсь, вроде, говорят, дельный мужик. Смотрю, новый цех достраиваете, значит, интерес к развитию есть.

Главный художник, заметно потяжелевший от выпитого, без воодушевления удостоверил:

— Будем.

Ночевал он в гостевой комнате, ворочаясь на неудобной кровати с комковатым матрасом. А едва засыпал — тут же являлась глазастая корова, она вела в поводу Василия, одного из лучших мастеров завода.

Директор, этакий окатыш — кругляш на двух кругляшках, сверху еще один кругляшок — выказал живой интерес.

— Вы возвращаетесь к себе в Питер, а через месяц, нет, полтора я приезжаю в Москву, встречаемся, идем в Минкульт. Нас сейчас по ведомственной принадлежности к коммунальщикам прицепили, может, туда… Но начинать, мне кажется, надо с Минкульта. К тому времени вы подготовите свои соображения, я — свои.

Все обещало веселую работу… В уплывающем сознании промелькнул новый цех, территория, заваленная гранитными бордюрами, извилистая лента дороги до райцентра.

На этот раз, очнувшись, художник удивился птичьему многоголосью. Раньше такого не замечал. Он подумал: птицы тоже умирают. И жизнь многих из них наверняка короче человеческой. Их так много, птиц самых разных! А где же трупы? Ими должна быть усеяна земля, ведь хоронить их некому. Бывает, увидишь замерзшую птаху или сшибленную на лету каким-нибудь лихим автомобилем — так это единицы. Говорят, в птиц вселяются наши бессмертные души, может, здесь и таится отгадка. Бессмертные души, бессмертные птицы…

«Какая теплая зима! Мне нисколько не холодно», — думал он, пытаясь пошевелить пальцами ног, затем рук и не понимая, чувствует он их или нет… Новый год наступил только что, он знает это, потому как день рождения у него второго января. Нынче был юбилей, приезжали сыновья, бывшая жена, скульптор Ваня Козицын, кто-то еще, кто — он не может вспомнить. Все они уехали только вчера. Или позавчера. Или третьего дня. Недавно, совсем недавно. Новый год… За пеленой времени открылся город, куда они с женой и четырехлетним сыном Вениамином уехали из Ленинграда. Молодые, дерзкие, талантливые. Мастерская, которая несколько лет служила им местом работы и жилищем. Странный город со странным названием, Барнаул.

— Ты просто пальцем ткнул в большую карту родины, так ведь, сознайся! — приставал к нему однокурсник Ваня Корнев.

— Нет, дротики метал с завязанными глазами, — отшучивался художник.

Только жена и старая смотрительница из Эрмитажа знали истинную причину. Колывань. Ее вазы и торшеры, знаменитая чаша, ее прошлое, застывшее в музейных стенах, — вот что безудержно влекло его к себе, за собой.

Новый год, 1974-й, первый Новый год в Барнауле. В мастерской несколько художников, журналистка, первой заметившая появление в городе новой творческой пары, ее друг, который привел с собой своего друга. Журналистка представила своего спутника писателем, но тот на писателя не был похож. Короткая спортивная стрижка, спортивная же фигура, облаченная в дорогой костюм-тройку. Они с другом являли собой пару из дорогого модного журнала и выпадали из богемного ансамбля, где из нарядов предпочтение было отдано джинсам и свитерам. Соревнование «кто больше выпьет» с изрядным преимуществом выиграли костюмы. Скучая за столом, они смотрели на рухнувших художников, друг на друга, и во взглядах этих сквозил вопрос: а что дальше?

Позднее художник подружился с писателем, они, бывало, вместе ездили в горы «на пленер» и месяцами пропадали в Колывани. Он всегда знал, что ему не оторваться от этого места, не отдалить его ни расстояньями, ни мыслями.

Клубника на склонах зачерствела, потемнела, не набрав спелости. Солнце торопит крестьянина: коси траву, иначе не видать тебе сена… С подводы, кряхтя, спешился дед, не спеша распряг лошадь, к которой жался жеребенок-сеголеток. Дед — то еще ветхозаветное явление. Из-под битого временем картуза седые пряди, очевидно, знающие ножницы лишь по праздникам, застиранная, неопределенного цвета рубаха опоясана бечевкой, облезшие сапоги со смятыми голенищами. Но что заметнее всего в его облике — по-детски ясные, пронзительно-голубые глаза.

— Здравствуйте! Косить собрались?

— Надо маленько. — Голос твердый, без стариковского дребезжания.

— По-моему, у вас тут еще не начинали.

— В добрых местах не дают, а тут некуда ждать. Пора.

— Покос большой?

— Да вот, — старик повел рукой вдоль лога, — до тех деревьев.

— Прилично… А я вот топчу тут у вас, уж извините.

— И-и, сказали! Сейчас понаедут за ягодой, за пасекой палаток наставят, иные месяцами живут. Да и то сказать, велика ли беда, людям отдыхать надо, в городе так не подышишь.

— Извините, как зовут вас?

— Прокопий, старое имя, — сообщил он, как бы извиняясь. — А по отчеству Матвеич.

— А семья большая, да, Прокопий Матвеич?

— Какая теперь семья, вдвоем с бабкой. Два сына в Бийске, дочь в Рубцовске, одна тут неподалеку.

— Навещают?

— Бывает, когда за мясом или еще чем, а помогать не помогают.

— И много скотины держите?

— Корова, телка, подтелок, овечек пятнадцать штук. Вдвоем со старухой управляемся.

— Здоровье-то не подводит?

— Нет его, здоровья, восемь десятков скоро, где от ранения, где от легких болит.

— Воевали, значит.

Дед промолчал, лишь быстро так глянул: экий непонятливый!

— Ну, и держали бы поменьше, вам и половины много.

— Оно как: спину ломит, а живот просит. Отчего не держать, если позволительно. Помню, после войны туго было. Если в хозяйстве коровенка есть, уже хорошо, и сдавать ничего не надо. А сейчас, смотри, по две-три коровы у каждого, мясо в кооперацию сдают, хозяйства мясные специальные — заестись можно. Говорят, людей много стало, так и колхозов-совхозов сколько, по дворам опять же скотины полно… У меня еще и куры есть, может, яиц хотите купить, приходите. У вас в городе-то как нынче с продуктами?

— По-всякому, но жить можно, холодильники не пустуют. Нет, правда, хорошо, в общем, живем. Войны бы только не было.

— Это не надо, — соглашается он, — какое с нее добро? А за яйцами приходите. На въезде в поселок левой дорогой сразу домишко мой, там еще дрова белые навалены, ивовые, кору я с них содрал.

Он потрогал ногтем лезвие косы.

— Извините, что оторвал от дела.

— Дело у меня нескорое, а вам спасибо, что подошли, скучно бывает одному.

То и дело возникала одна и та же мысль: «Почему не холодно? Голая земля, зима… Наверно, я лежу тут совсем недолго, и все, что проходит перед глазами, — сон. Ведь известно, во сне за минуту могут пролететь годы».

Комната художников на Колыванском заводе. Кроки, чертежи, полки с заготовками. Писателя обрядили в рабочий халат и огромный прорезиненный фартук, он осваивает азы камнерезного дела.

— Буду образцы для себя шлифовать, полировать.

— Смотри, — предостерегает один из художников, Олег, — камень — это зараза, прицепится — не оторвешь.

— Да я немного, так чтобы дома Колывань вспоминать.

— Ну, тогда вот тебе яшма, порфир, лиственит, агат…

Пьют чай из потемневших кружек. Кипяток булькает на самодельной плитке, тело которой состоит из двух огнеупорных кирпичей со спрятанной в канавках толстой спиралью. По словам того же Олега, зимой они с помощью этой плитки обогреваются. Художник уже расстался с мыслью собирать коллекцию камней, давно уже вся его жизнь — камни. Сейчас он заканчивает эскиз огромного панно для речного вокзала. Это будет первая масштабная флорентийская мозаика за всю историю завода. Там надо уместить все — природу Алтая, историю, героя-труженика, покорившего эти необъятные просторы.

К концу рабочего дня к художникам зашел инженер Петров, принес водку, сало.

— Опять без обеда, — глянул на художника. Не дожидаясь ответа, начал резать хлеб.

Сели кругом. Разговоры об одном.

— Три года пилили гранит для Омска, в крае будто бы и не знали. Потом поняли наконец, что и себе надо. Теперь пилить будем на облицовку зданий, вальцы для химиков делать — это деньги, это экономика, это даст нам возможность делать интересные работы.

— Вот это разговор хозяина! — воодушевился художник.

Знать бы тогда, что не так далеки те времена, когда единственной продукцией завода станут вальцы и бордюры… Да еще — для приработка — надгробные плиты и портреты на камне

под названием звонарь. Но тогда дух творчества и вера в непобедимость искусства были в них сильнее всего.

— Эти идиоты военные или кто там выполняет их заказы, чтобы легче было добывать белоречит — он где-то в военной промышленности применяется, — взорвали гору Разрабочую. С геологами забыли посоветоваться, те бы подсказали, что камень высокого коэффициента прочности, взорвал — трещины пойдут по всему месторождению. И вот попробуй сейчас найти приличный блок для большой вазы — любой на станке рассыплется. Так и живем: один головотяп отдаст приказ — и не расхлебать веками.

Очевидно, в тот самый день и родился у них тост: да не расколется твой камень!

Надо бы подняться, дел невпроворот. Печь протопить, а то сырость по дому пошла. Недавно перебирал картоны — плесень несколько листов уже подъела. Натюрморт закончить, там чуть-чуть осталось, восточный кувшин с апельсином. Обещал другу-писателю, у того пунктик завелся: хочу серию натюрмортов, чтобы там апельсин присутствовал. А началось все с левкаса, который писатель едва ли не силой забрал у него. Они с женой и сыновьями уже почти все собрали перед возвращением в Питер, осталось несколько небольших работ, стоящих на полу вдоль стены. Писатель поднял одну и больше не выпустил ее из рук. Ковыль в высоком фужере тонкого стекла, рядом апельсин. Работа изящная, чувственная — так отнесся к ней писатель. Придумает тоже! Чувства — удел человека. Но у того на все ответ:

— Вот все, что вызывает эти самые чувства, и есть чувственность.

Все-таки необходимо побороть эту немощь, хотя пустое все, ненужное, разве вот печку затопить. Да что-то совсем невмоготу.

— Можешь!

— Не могу.

— Можешь!

— Не могу.

Хозяйке, у которой снимали они в Колывани полдома, бабе Наде, под восемьдесят. Дом стоит в низинке, под дорогой, это место в селе так и называют — Подъяр. Напротив дома речка, она течет через плотину, через завод и несет с собой камушки

с завода — сургучную яшму, звонарь, мрамор, разноцветные кварциты. Все дороги в Колывани усыпаны кварцитами.

— Придет время — будем выковыривать эти камешки из-под ног.

Кто это сказал? Ах да, сам же он и говорил другу-писателю…

Баба Надя верующая, но икон в доме нет, в красном углу картина Брюллова «Портрет незнакомки». Пенсия скромная, за колхозные «палочки» посчитали негусто. Но есть приработок, заговаривает детей от испуга, от сглаза, редко — это уж касается взрослых — от приворота. Ее подруга, старая Крючиха, тоже знахарка, только больше помогает скотине. Недавно вылечила ногу у лошади, ту уж было собрались на живодерню отправлять. Крючиха все время гоняется за коровой с теленком, при этом разговаривает сама с собой. Баба Надя увидела ее с палочкой.

— Это у тебя не мой бадик?

— Да то ж подсолнуховая палка, али она тебя выдержит!

— Ядрена корень!

Этими двумя словами баба Надя ругается, удивляется, одобряет, меняется лишь интонация.

Тем же летом художника привезли рисовать первого председателя колхоза. Хибара как в «Сказке о рыбаке и рыбке». Все хозяйство покренилось, попадало, стайки завалились, курицы оттуда в страхе разбежались, коза уже по росту не проходит. В доме лежит на лавке древний дед, сбоку щели, задувает, ноги к печке прислонены.

— Что ж не отремонтируете?

— А главное — ноги в тепле, — вступает в разговор хозяйка. — Сейчас и на улице не холодно, а зимой мы фуфайку подтыкаем. Слабые стали. Он раньше вон какой молодец был, — показывает на фотографию, где молодец в лихо заломленной кубанке развернул грудь навстречу фотографу. — Да и я по три ведра воды таскала, сейчас одно кое-как…

Тут же что-то перещелкнуло, как в стареньком диапроекторе, и вот уже они с другом-писателем идут через лес к вершине горы Синюхи. На пути озеро Моховое, сказочно красивое, берега — каменные блины один на другом, а к ним вплотную подступают сосны и лиственницы. Искупались.

— Вот здесь мы с тобой домик поставим, на самом берегу, мастерскую художника и писателя. И лестница будет сходить прямо к воде. И никто нам мешать не будет…

Шло время, писатель при встречах и позднее в редких письмах задавал один и тот же вопрос: когда начнем строить? Усмешка при этом становилась все горше, а закончилось все приговором самим себе: а домик мы так и не построили. Такая вот штука жизнь — то, что виделось простым и легким, оказалось непосильным…

Чуть выше — пионы еще не отцвели, в здешних местах их называют Марьиными кореньями, потом — огоньки. Баба Надя рассказывала, что до недавнего времени поднималась на Синюху и помнит, когда батюшка на коне туда въезжал. Служил там. Вот и память о том времени — обломок металлического костыля, который держал крест. Потрогали пружинящее ложе из можжевельника, попили талой водицы из каменных ложбинок. День разгорелся прозрачный, на десятки километров окрест поля, озера, перелески, села и хутора. Все это звало к освоению и внушало уверенность, что будет ими освоено. И ничего, что даль простирается на многие и многие версты и тает в дымке за горизонтом, это все у их ног, это все они видят, значит, смогут и объять.

На юбилей приехала бывшая жена, сыновья — старший из Москвы, младший из Парижа. Художник не ждал никого, но вот приехали, и он обрадовался им… Сюрпризы жизни! Он, сколько себя помнит, воевал с архитекторами, которым его попытки монументального «украшательства» всегда казались излишними. И вот, поди ж ты, его бывшая вышла замуж за архитектора! Художник всегда любил только ее, а она… Он думал, что она никогда не любила его по-настоящему, так, терпела. А когда дети выросли и надобность в терпении отпала, она ушла. На прощание сказала: ты можешь любить только себя. «Это несправедливо, это неправда!» — все кричало в нем — но она этого не услышала. Он часто думал о ней и видел не живое лицо, не фотографии, а фрески в форме медальонов на стенах барнаульского Дворца бракосочетаний, где они изображены молодыми, влюбленными, так похожими на себя.

По инерции или по призванию? Вряд ли и тогда и теперь смог бы он ответить, почему сыновья пошли учиться на художников. Когда он увидел курсовую работу старшего, сказал

себе: этот пойдет дальше меня. Но тот, красавчик, создал вокально-инструментальную группу, начал позировать для модных журналов. Младший стал приличным дизайнером, работал все больше по зарубежным заказам и окончательно определился в Париже. Дети успешные, ничего не скажешь, но какой-то успех у них не семейный. Отец художника был известным юристом, для воспитания сына много времени не имел и потому сразу забирал круто: порол его нещадно, загоняя к мольберту.

А юбилей… Что там было? Ведь вчера только — позавчера ли? — собрались все, стол накрыли, говорили. Нет, он ничего не может вспомнить из всего многоголосья, вот сейчас видит их всех перед собой, говорят, губами шевелят — а слов не слышно. Давайте тогда я скажу. Сейчас, вот только встану со своего места… Нет, не могу, я так, не вставая, можно?

— Смешно и грустно. Вот так, незаметно, утек песок из моих часов. Это не успел, на другое не хватило времени. На что истратил то, что было, — только с себя спрашивать. Мир — в нас самих, очарование и любовь творим мы сами. Не смотрите на меня, не повторяйте, у вас своя жизнь. У меня осталась мечта — еще хоть раз побывать на Алтае. Только не надо мне помогать, все, что смогу, — своими силами.

Ночь. Метель. Как они сумели пробиться до Колывани на «Волге» барнаульской чиновницы — долго удивлялись сами, удивляли других. Мало им дорожных приключений — тут же по приезде отправились к местному егерю. А все ночь и ночь, нескончаемая. Во дворе сквозь метельный мрак художник успел схватить взглядом аккуратную поленницу чуть не по всему периметру ограды. Хозяин не спал. На кухне, отделенной от остального жилья на городской манер, пылала печь, а на ней сладко дышала свежей убоиной огромная выварка.

— Ждал? — спросил хозяина художник.

— А то! — распахнул объятья тот.

— Ты баню тут натопил, хоть веник запаривай. Понятно, дров не жалко, видел я, сколько наготовил.

Хозяин помрачнел.

— Дрова у меня в другом месте сложены, то ноги лосиные.

— Ого! Это ж ферму целую забить…

— Это проклятье моей должности. Приезжают генералы, и в погонах и без, приезжают папахи — и у всех по нескольку лицензий. Сказал бы кто — не поверил бы, все бумаги чин чинарем, не придерешься. Кто их тут прикормил, не знаю. Вот и идет битва не на жизнь, а на смерть. А ноги… Придет времечко им рассчитываться — предъявлю доказательства. Уйду я скоро, не хочу больше. В пасечники подамся.

Хозяин известный в округе волчатник. Большинство охотников на этого зверя рассыпают отравленную приваду, а этот всегда стремится встать с хищником глаза в глаза.

— Знаешь, чего хочу? — спросил однажды. — Чтоб на меня напала стая штук этак в семь.

— Так задерут!

— А нет! Я их не боюсь…

«В пасечники он пойдет!» — усомнился тогда художник.

В последнее время письма приходят все реже. Кому писать-то? А в тех редких — расстаются, заводят новые семьи, разменивают квартиры, женят детей… Тоже жизнь. Но почему-то никто не сообщит, что вчера ввечеру он сидел на крыльце и наблюдал за закатом. Или смотрел, как скворец кормит скворчиху, высиживающую потомство. Или слушал кукушку… Когда скворец освободится от забот по кормежке мамаши и детишек, у него появится свободное время и он станет передразнивать сорок, соседских кошек и даже петуха. У людей чаще всего времени на то, чтобы видеть это, не хватает.

Все могло быть иначе. Эта мысль уже давно не дает ему покоя. Как — он не знает, но по-другому. Калейдоскоп лиц постоянно выхватывает из прошлого все новые и новые. Вот Тамара, жена егеря, за ней местный любитель истории Дударенко, бывший директор завода Борис Пчелинцев… Вглядывается он в них и задумывается о смысле своего существования. «А ты существуй — и все!» — это ему сказал однажды друг-писатель.

После завтрака свежениной из лосятины отправились прямо на завод. А день все путался в метели и никак не уходящей темноте. Народу собралось человек тридцать — начальство, художники, рабочие. Ваза была закреплена на станке, затянута

пленкой. Сдернули покрова — и вот она, красавица, долгожданная, первая такого солидного размера за многие десятилетия существования завода. Его ваза! Родная сестра той самой знаменитой чаши из Эрмитажа, для которой строили отдельную комнату, обе из ревневской яшмы. Похлопали, сказали несколько слов, плеснули водки на зеленый полированный бок. Да не расколется твой камень! — вслух не произнесли, поняли переглянувшись с Борисом, с художниками, с мастерами.

А потом обнимали ее, а потом пировали и говорили, говорили, вспомнили, что еще академик Ферсман, великий знаток камня, утверждал, что настоящих центров камнерезного искусства в России всего три — Петергоф, Екатеринбург и Колывань. Как бы там ни было, из них сегодня жива только Колывань.

А потом было торжественное открытие монумента с вазой в дни празднования 250-летия Барнаула, что, собственно, и послужило поводом для создания этой красавицы из зеленой полосчатой яшмы. Художник долго искал форму для нее, пересматривая старые листы с чертежами Кваренги, Росси, Воронихина… Вазу водрузили на месте, где раньше находился фонтан с двумя бетонными мальчиками, держащими рыбку, у которой изо рта бежала водичка. Художник настоял, чтобы водная гладь была сохранена. Многие барнаульцы жалели, что вслед за мальчиками снесли единственную в городе блинную, но то — другой разговор, на месте блинной построили довольно уютный ресторан и при нем пивоварню.

Почему-то ушел спор с самим собой: сможет он подняться или не сможет. Прошлая жизнь захватила, завладела им полностью, в который уж раз подчеркивая, что это и была его настоящая жизнь, там, на Алтае, в буранной и цветной стороне. Все остальное или предисловие или эпилог. Лишь чуть пробивали сознание мысли о заботах насущных — печка, дрова, мокнущий угол, от которого пошел гулять по дому грибок. Картоны, кроки, этюды — все может пропасть.

На Алтае родился их младший, получивший имя деда. И вскоре после его рождения жена завела разговоры о возвращении в Питер. Какой Питер, работы невпроворот. К тому времени

на заводе с его подачи вовсю осваивали флорентийскую мозаику. Раньше этим не занимались. Самым трудным оказался не подбор камня, не его обработка и подгонка, а поиск материала для основания, на котором крепилась вся композиция — набранные из камня натюрморты, портреты, картины. Один коробится от воды, другой непомерно тяжел, третий недолговечен… Как бы там ни было, после многих месяцев бессонного бдения на заводе появилось большое мозаичное панно на речном вокзале. Вот это был праздник! Событие в монументальном искусстве всей огромной страны! Радовались и выслушивали критику, которой было в избытке: и стыки не везде точные, и цвет кое-где подгулял, и тематика, извините, слишком уж соцреалистическая. А дело шло…

Он скорее почувствовал, чем услышал: кто-то вошел в калитку и движется в его сторону. Почему так медленно идет этот человек? Кто это может быть? Повернуть голову, как-то исхитриться приподнять свое непомерно тяжелое тело. Есть же еще жизнь в нем, ну хоть немного. Вот сейчас подойдут, помогут, спасут… А надо? Что потом? Кому он объяснит, почему не ушел, зачем остался? Для кого? Его ждут этюды, наброски, сделанные в Колывани, с ними работы на десятилетия. А куда их потом? Выставку организовать! Да, точно, только не в Питере, кому она здесь интересна? Надо будет отвезти ее на Алтай, там его помнят, там живы его мозаики, его вазы, их время так быстро не сотрет… Шаги стихли, художнику показалось, что он слышит дыхание подошедшего. Окликнуть? Дать понять, что он еще жив? Но нет, тело не слушается, а голос пропал сразу после отъезда гостей. Не нужен ему голос, говорить — это оказалось самым ненужным в его нынешней жизни. И если ему приходилось совершать редкие походы в магазин за продуктами, он полдня до выхода из дома тренировал связки, отогревая горло чаем с мятой и зверобоем. Прислушался. И птицы умолкли, и дыхания рядом не слышно, однако он был уверен: человек — человек ли? — был еще здесь.

Время уже потеряло свой смысл, свое значение, вообще все свои признаки. Утек песок — и время кончилось. Как там в детской книжке, он же помнит: сказка о потерянном времени. Он, как и многие вокруг и около, терял и терял время, а потом оно само потерялось… Тихо. Скорее всего, некто ушел. Едва

шевельнулась досада: как так, почему не окликнул, не тронул за плечо, как-никак лежит человек на холодной земле. А впрочем… Кто бы это мог быть? Соседи сюда отродясь не заглядывают, жена? Когда она уже была беременна вторым, они сняли на лето деревенский дом в селе Бобровка неподалеку от Барнаула. К тому времени она едва проговорилась, что хочет вернуться в Питер, он даже не придал значения мимолетному разговору. А вот ссориться они стали часто, может беременность была тому виной, кто знает. В один из приездов к семье на выходные художник не застал никого дома. Развернул машину и поехал на берег Оби к месту, которое они облюбовали с первых же дней в деревне. Лес в том месте подступал к самому срезу высокого берега, а подошедшему к краю обрыва открывался тот щемящий вид, какой могут наблюдать жители России во многих краях и весях: широкая лента реки, зеленые луга — необъятный простор, уходящий в дымку у окоема. А внизу подрастающий сын, жена со вторым сыном во чреве, такие близкие, родные, беззащитные и очень точно и тонко вписанные в этот опьяняющий пейзаж.

Вслед за росписью на речном вокзале были изготовлены мозаики «Хлеб Сибири» для зональной выставки, несколько мозаик для дворца культуры моторостроителей, столешницы «Колывань» и «Вазы Колывани». Восемь крупных мозаичных панно для метро «Сибирская» Новосибирска. А жена все настойчивее говорила о возвращении в Питер. Дети подрастают, надо думать об их образовании, с питерской квартирой что-то решать, появилась возможность ее расширить, а для таких дел необходимо присутствие там.

Душа рвалась в Колывань. Он уже перестал считать дни, проведенные в городе и там, как ни считай, там их получалось больше. Семья, работа, дом. Дом, семья, работа. Меняй местами как угодно — что-то опережает, что-то отстает.

Ему не надо делать усилия, чтобы оживить в красках и подробностях каждый день, проведенный в Колывани, а уж эти… На заводе идет подготовка к экспедиции на Коргон, за камнем. Это бывает обычно к концу августа, когда вода в горных речках падает до минимума, открываются броды к труднодоступным

местам, где самые лучшие залежи порфиров и яшм. Художнику особо собирать нечего, весь походный скарб при нем, в рюкзаке. Раньше всех готовый к отъезду, неутомимый рассказчик, знающий историю, Дударенко развлекает художника разговорами.

Раньше, бывало, на несколько месяцев уезжали. Бабы плакали, как на войну провожали. Едва соберут мужиков в кучу — они опять по деревне разбредутся, пьяные все, за баб цепляются. Их опять в кучу, они снова, гляди, утекли. Наконец, соберут подводы в обоз — и поехали. Какие теперь подводы! Два мощных трехосных ЗИЛа: в одном оборудование, плетеные из тросов корзины для крупных камней, в другом палатки, вещи, сами заготовители.

Дорога сначала пошла извилистой лентой между невысоких холмов, затем они становились все выше, выше и, наконец, перешли в горы. Вдали открылись Королевские белки, гора Разрабочая, откуда добывают белореченский кварцит. Проезжают мимо деревень Усть-Белая, Чинита, Тулата, Косолапово, Сентелек. Последний населенный пункт на их пути — деревенька Коргон, за ней переправа, которую решили проходить завтра, ночевать будут здесь. Быстро набрали дров, сварили суп из тушенки, палатку решили не ставить, спать в кузове, на открытом воздухе. Однако никто не уснул, разговоры разговаривали, все о заводе, его перспективах. Молодые художники, приехавшие с Урала, чем-то напоминали комсомольцев, отправившихся на Всесоюзную ударную стройку, энтузиазма — через край. Хорошо художнику с ними работать: дней-ночей не разбирают, стоит только зажечь идеей.

Утром переехали через речку Коргон, прибыли на основную стоянку, которую пользуют из года в год. Вода в реке бирюзовая от глубины, ее там не разобрать — где метр, где все пять. Напротив стоянки отвесная скала, по ней ручьи серебрятся, рассыпаются в скором своем беге. А тут и дождь взялся не к месту. Хотя как посмотреть: с одной стороны скользко передвигаться по камням, с другой — вода обнажает рисунок на них. Здесь многоцветные яшмы, порфиры (помимо основных цветов, бесконечные цветовые растяжки). А вот камень, в который художник влюбился, как в живое создание, — в каталогах его вроде

нет, а кто-то назвал античной яшмой. По бело-розоватому полю (напоминает цвет молозива) многочисленные дендриды, окаменевшие растения.

На следующий день отправились к Чертову мосту. Трудно сказать, когда он был сооружен, в книге академика Ферсмана есть его фотография, датированная 1904 годом, и там этот мост. Вьючная тропа круто забирает вверх, по дождю идти трудновато. Здесь, наверху, кажется, что горы, образующие глубокое ущелье, вот-вот сойдутся, раздавят всех, осмелившихся нарушить их покой. Вот и огромные валуны, на которых писатель Александр Родионов, историк, краевед и геолог, во время прошлой экспедиции прочитал даты, сделанные заготовителями еще в девятнадцатом столетии. Тогда эти огромные камни заковывали в бревна, распиленные вдоль пополам, и спускали вниз, к воде, дожидаясь ледостава, чтобы вывезти заготовки и отправить на завод.

— А нынче при всей технической мощи — никак, — посетовал тогда краевед.

Намерзлись в походе. Сложили из камня тигель, распалили костер, накалили валуны, накрыли палаткой — баня получилась на зависть самым лютым парильщикам. А из ее горячего чрева да с маху прямо в ледяной Коргон! Мммм! А потом костер да ужин под рюмочку, и опять разговоры, разговоры. Все, работа закончена, завтра в обратный путь. А неохота, ей-Богу! Художник отошел в сторону, лег на просохший брезент. Неба нет, гор нет, воды нет, а над головой в сплошной черноте огромные звезды. Вот бы купить в Колывани дом, красивые места, заповедные. Жить здесь, и пускай дети смотрят на то, что есть настоящее в этом мире…

Время шло. О Колывани заговорили с новой силой. Вроде бы у государства начал пробуждаться интерес к продукции камнерезов. Художник во всех подробностях помнит, как приезжала комиссия Совета министров РСФСР. Вот они разглядывают вазу, сделанную для краевого драмтеатра, для автовокзала — красавица из зеленоватого амазонита, вот трогают руками его столешницу. А вечером важные люди сидели с ними вместе за столом и пели песни. Но больше говорили о необходимости ориентировать завод на связь с архитектурой.

— Поймите же, — горячился художник, — мы никуда не двинемся, если будем делать бусы да пепельницы с чернильницами! И здесь первое слово за вами, за властью! Именно от государства должны в первую очередь поступать на завод серьезные заказы на крупные изделия!

Свет, тьма, что там на дворе — день, ночь? Рука, подложенная под голову, не дает ничего видеть, а стронуть ее с места нет сил. «До весны совсем немного, — отчего-то подумалось ему, — два месяца, даже меньше. А там новые соки жизни войдут во все земное». И в него… Вот что он еще должен сделать, причем незамедлительно — написать письмо другу в Барнаул. Он напишет: «Здравствуй, друг мой дорогой! Очень долго нет письма от тебя, а ведь это единственная живая связь с тем желанным миром, который я покинул по своей воле, получив взамен предательство. Да, нужно было жить, пускать корни там, в Колывани, но это в той ситуации было нереально. А нынче мой поезд ушел, оставив меня на полустанке удивленным и больным. Побывав в больнице во второй раз, я остро почувствовал необходимость в общении с близкими мне людьми. Есть у больницы такое свойство — открывать шлюзы для сокровенного и откровенного. Когда мне особенно плохо, я вспоминаю, как мы возвращались с рыбалки, говорили необыкновенно важные вещи, и слова летели впереди нас… Хочу подарить тебе два натюрморта, один из них с апельсином (помнится, ты просил именно такой в пару к тому, что висит у тебя в кабинете), думаю, придется тебе по вкусу и дополнит твою коллекцию. Я начал несколько рисунков, эскиз Коргона для новой колыванской мозаики, но понял, что без письма к тебе все это будет вялым, никчемным… Как дальше? Для чего? Для кого? Сложно свыкнуться с мыслью, что этот загородный дом, эта мастерская — последнее прибежище одинокого человека. Но ничего, сейчас главное — прописаться, а то ведь в настоящее время я бомж. Детям теперь здесь ничего не нужно, они купили квартиры. Не расстаюсь с мыслью побывать еще хоть раз на Алтае. Мои проекты там пробуксовывают. Директор, закинув зерна надежды на перемену обстоятельств, спрятался, не отвечает на звонки. Обидно, нехорошо перед людьми, готовыми на действия, связанные с участием в новых программах. Не хочется

загадывать, но на всякий случай задам вопрос: а смог бы ты дней десять-двенадцать выкроить из своей жизни и поездить со мной. Бензин и прочие расходы беру на себя… Думаю на девятое мая собрать у себя старых товарищей Ивана Корнева, Игоря Нахимова, давно хотел познакомить тебя с ними. Приезжай. Сядем, выпьем, помянем отцов наших, фронтовиков…»

Внезапно совсем рядом, возле самого уха художника раздался вороний крик. Он не был дерзким, бранчливым, сутяжным, как чаще всего бывает у этих птиц. Ворона как-то простужено и зовуще прохрипела.

— Кххххх, — сказала она.

И опять тишина, стылое безмолвие и растерявшееся время.

Разговор в мастерской художника. За столом хозяин с женой и писатель Александр Родионов.

— Колывань известна вон с каких времен, а тогда в Барнауле почему-то не осело ни одно изделие завода. Странно, центр Колывано-Воскресенского округа.

Родионов промолчал, думая о чем-то другом. Он будто бы не услышал, о чем только что сказал художник.

— В пятидесятых годах девятнадцатого века в Барнауле была открыта лавка, в ней печатями торговали. В том числе каменными. Через полтора года лавочник разорился.

— Вот-вот, мелочевка опять, пепельницы, подсвечники. Что, по-твоему, нужно Колывани, чтобы подняться наконец?

— Во-первых, энтузиаст-художник, который сидел бы на заводе безвылазно, во-вторых, материальная база, оборудование современное, в-третьих, сбыт, рынок.

— Да это ж главное! — горячился художник. — Они сейчас сидели б, мух ловили, если бы не наши заказы. По местпрому, кому они нынче подчиняются, невыполнение плана на два миллиарда, все заказы кончились, мелочевка никому не нужна. Надо привлекать Госстрой, кто этим будет заниматься? Вот этот заказ, который я сейчас притащил на завод, ты думаешь, как я выбивал? Да через Москву и никак иначе. Сколько я там порогов пообивал?

Он обратился к жене, та в ответ только руками развела

— Надо всю работу завода поставить на производство крупных монументальных изделий. Что сегодня в Эрмитаже

из колыванских работ, пепельницы, подсвечники? Нет, брат, и ты знаешь не хуже меня, там торшеры, камины, вазы. Вот оно, лицо завода. Помимо всего прочего, надо давать заводским художникам экспортные заказы.

— Ты думаешь, это выход? — поднял кустистые брови Родионов. — Мы говорим о будущем, а смотрим куда-то в сторону. Убеждать через заграницу — в России уже были прецеденты — это все равно что вывозить из страны ценности. И потом. Много камня сегодня — это не означает, что его будет много завтра. Как бы там ни было, это невосполнимый продукт…

Не-ет, надо как-то находить силу, надо подниматься, идти. Ведь ребята ждут, им только дай отмашку. Как любил повторять его друг из Барнаула: «Господь не отпустит тебя с Земли, пока не исполнишь назначенное им».

— Ты сможешь!

— Не могу.

— Сможешь!

— Не могу…

Он пытается, честно, пытается изо всех сил, но отчего-то не может добиться даже малейшего движения своего тела, оно как будто застыло, окоченело это его огромное, могучее тело, которое — давно ли? — двигало полутонные камни там, на Коргоне, таскало по тайге сорокакилограммовые рюкзаки, вытаскивало застрявшую в грязи машину…

В то лето было много работы на заводе, он неделями, месяцами пропадал там, иной раз забывая сбегать в столовую. А жена тем временем собиралась в Ленинград, для нее никаких сомнений в отъезде не оставалось.

— Остаться! Остаться здесь навсегда, — поднимался в нем голос творца.

— Надо ехать, это необходимость, — возражал глава семьи.

— Остаться!

— Нельзя, не имею права!

Он прошел вверх по улице Парижской, поднялся на взгорок за селом, присел между редких сосен, сбежавших сюда из леса. Отсюда вся Колывань как на ладони. Отдельные знакомые дома хорошо различимы: вон усадьба Володи Сапрыкина, неподалеку

дом Саши Дербенева, а вот — Бориса Пчелинцева… Завод, плотина, водохранилище, школа, музей — все, к чему за эти годы приросла душа. Прощай, Колывань, увидимся ли когда?

Он приезжал. Спустя годы. Приезжал и раз, и два, и три. С новыми заказами, с новыми проектами. Один из выполненных крупных заказов того времени — мозаика для театра «Новая опера» в Москве. В последний приезд — было это после инсульта и операции на ноге — он уже едва передвигался. К тому времени на заводе был пущен новый цех, который стал основным в производственном цикле. Здесь пилили бордюры из гранита, изготавливали памятники, надгробья, делали даже вазы и мозаики, но заказы на них носили случайный, эпизодический характер. Хочешь не хочешь, к новой жизни, как и всем его сверстникам, приходилось привыкать, но привыкнуть окончательно вряд ли кому по силам. Новое из нового — заказы на крупные вазы из знаменитой ревневской яшмы, из порфиров, облицовки для каминов — стали поступать от частных лиц.

— Что это за лица такие? — задавал он ненужный вопрос Родионову, сидя в его игрушечной квартирке, на пересечении улиц Пушкина и Горького, разглядывая коллекцию камней писателя и геолога.

Хозяин квартиры в то время был глубоко погружен в историю, он работал над историческим романом «Князь-раб». Выплыв из своей глубины, он внимательно посмотрел на художника, плеснул в стаканы и сказал:

— Да не расколется твой камень!

Перед возвращением домой художник прошелся по городу, увидел, что постамент под его вазой зачем-то укоротили, воду из бассейна под ней убрали, и он зиял какой-то ненужной дыркой в земле. Ножка вазы потрескалась. В гостинице он написал письмо и попросил своего барнаульского друга передать его городским властям.

«Всю архитектуру необходимо вернуть к первоначальному замыслу, то есть восстановить бассейн, в который была поставлена ваза на пьедестале. Зеркало воды было задумано не по чьей-то дурной прихоти, оно углубляет пространство, дает дополнительный объем всей композиции. Нужно увеличить

вертикаль, кому-то же пришло в голову укоротить пьедестал! Необходимо реставрировать основание вазы, оно все в трещинах. Нужно вернуть на место картуш, где значилось: «Ваза 250-летия города Барнаула. Дар колыванских камнерезов городу». В случае восстановления вазы не лишне будет напомнить колыванцам, что между деталями ее необходимо делать свинцовые прокладки, тогда не будет таких разрывов. И вообще — памятник этот уже история, за ним надо ухаживать, заниматься благоустройством окружающего пространства. Ценить, хранить, а не бездумно корректировать придуманное специалистами».

До сей минуты художник не мог различить дня и ночи. Может, и день-то единый не успел уйти, счет времени потерян. А глаза не видят, не открываются. Но вдруг он почувствовал темноту, именно почувствовал, не увидел. Значит, вечер, значит, ночь… Память вернулась к недавним дням, когда он справлял свой юбилей в кругу семьи. Да-да, своей семьи, слышите? Отец, ты меня слышишь? Я сказал своим детям, чтобы они разделили мой прах надвое, часть отвезли и подхоронили в твою могилу в Ростове, а другую развеяли с вершины горы Синюхи, над Колыванью… Да, батя, много после тебя ушло родных, близких, знакомых. И как верно придумана поминальная молитва на всех: «Сохрани, Господи, души родственников, семейников, благодетелей… Прости им согрешения вольные и невольные и даруй им Царствие небесное!» Что это со мной? Никогда не помнил, не знал ни одной молитвы. А впрочем, вероятно, как всегда, ошибаюсь. Наверно, с возрастом надо забывать слова «никогда», «непременно», «обязательно», «безусловно» и прочие из этого ряда.